

A man and a woman in military gear standing in a battlefield. The man is wearing a tactical vest and the woman is wearing a crop top and shorts. They are surrounded by fire and smoke.

Сергей Патрушев

# Больное сердце войны

Сергей Патрушев  
**Больное сердце войны**

«Автор»

2026

## **Патрушев С.**

Больное сердце войны / С. Патрушев — «Автор», 2026

В мире, где беспилотники падают на бульвары, а ракеты стирают города за секунды, двое обычных людей пытаются сохранить то, что невозможно отнять, — любовь. Сергей работает на складе, Анастасия только окончила университет. Они живут в Озёрске-Северном, промышленном городе Белогорской Федерации, и их самая большая мечта — скромная квартира и тихие субботние вечера с мороженым в руках. Но однажды жарким летним днём прямо над их головами пролетает дрон, и прежняя жизнь заканчивается навсегда. Война входит в город постепенно, но неумолимо: сначала прилёты, потом топливный кризис, голод, ядовитый воздух, мародёрство, новая бесшумная ракета «Шёпот», против которой нет защиты. Мир превращается в оживший постапокалипсис — в смесь «Метро», «Сталкера» и «Фоллаута», где люди ютятся в подвалах, меняют патроны на хлеб, молятся при свечах и заводят семьи за несколько часов до обещанного ядерного удара.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

# Сергей Патрушев

## Больное сердце войны

### Глава 1. Суббота, плюс двадцать семь

Жара не уходила даже к вечеру. Она висела над Озёрском-Северным плотным маревом, заставляя воздух дрожать над разогретым асфальтом, и город напоминал огромную сковороду, которую забыли убрать с огня. Сергей вышел из душа, но уже через десять минут рубашка снова прилипла к лопаткам. В их съёмной однушке на седьмом этаже окна выходили на солнечную сторону, и кондиционер, установленный ещё прежними жильцами, сипел и кашлял, выдавая лишь жалкое подобие прохлады. Анастасия сидела перед зеркалом в прихожей и собирала волосы в небрежный пучок, перехватывая их резинкой с каким-то ожесточением — на работе с этим пучком она проводила весь день, и теперь, даже в выходной, привычка брала своё.

Серёга смотрел на неё из коридора, прислонившись плечом к косяку, и испытывал странное, трудно определяемое чувство — смесь нежности и щемящей тоски. Анастасии было двадцать три, ему двадцать шесть, они встречались третий год и жили вместе уже второй, но иногда он ловил себя на мысли, что смотрит на неё будто в последний раз. Это было глупо, иррационально, но это чувство появлялось всё чаще в последние недели, когда по ночам выли сирены, а новости становились всё тревожнее. Сергей гнал его от себя, засовывал поглубже, как засовывают в ящик стола неоплаченные счета, но оно возвращалось. Вот и сейчас — просто смотрел, как она заправляет за ухо выбившуюся прядь, и думал о том, какие у неё красивые, тонкие пальцы. Анастасия поймала его взгляд в зеркале, улыбнулась устало, одними уголками губ, и эта улыбка резанула его по сердцу острее любого осколка.

Она только окончила университет по специальности «логистика», но за три месяца поисков работы поняла то, что понимали все выпускники в Белогорской Федерации: диплом мало что решает, когда экономика страны трещит по швам от затянувшегося пограничного конфликта. Вайлдбериз взял её без опыта, предложил смены по двенадцать часов и оклад, который вызывал горькую усмешку у Серёги, когда он сравнивал его со своими складскими. Но Настя держалась, даже находила в этом какой-то азарт, и по вечерам, растирая гудящие ноги, рассказывала ему про бесконечный конвейер коробок, про сканер, который вечно зависает, про начальницу смены — крикливую тётку с золотыми зубами, которая называла всех «зайками» и штрафовала за минутное опоздание. Она говорила об этом с юмором, и за этим юмором Сергей видел другое — как она взрослеет, как учится держать удары, как постепенно стирается её лица та беззаботная студенческая мягкость, за которую он её когда-то полюбил.

Серёга работал на складе строительных материалов. Эта работа досталась ему после армии и четырёх лет, прожитых почти что впустую, — он пробовал учиться на механика, бросил, пробовал заниматься частным извозом, прогорел. Склад был его якорем, его рутинной, его способом чувствовать себя мужиком, который приносит домой зарплату, пусть и скромную, но стабильную. Ему даже нравилась эта работа — физическая, понятная, честная: принять груз, разложить по паллетам, отгрузить клиенту, заполнить накладную. Мышцы приятно ныли к вечеру, а голова оставалась пустой и чистой, свободной от тревожных мыслей. Но в последнее время тревога пробиралась и туда, в прохладный ангар с высокими стеллажами, потому что город всё чаще вздрагивал от далёких разрывов, а на горизонте, за северной промзоной, иногда поднимались столбы дыма.

В ту субботу они решили прогуляться, потому что сидеть в душной квартире было невыносимо. Это была их маленькая традиция — гулять пешком до парка, покупать по дороге мороженое в круглосуточном ларьке у остановки и потом сидеть на лавочке, глядя, как зажигаются фонари. Традиция, которая держалась уже почти два года, пережила две ссоры, один его день рождения, который они встретили вдвоём под дождём, и сотню вечеров, похожих один на другой, как две капли воды. Сергей держался за эту традицию с суеверной цепкостью — казалось, что пока они ходят этим маршрутом, с ними ничего плохого не случится. Глупость, конечно, детская вера в приметы, но он ничего не мог с собой поделать.

Вечернее солнце красило панельные дома в оттенки охры и розового золота. Дворники поливали тротуары из шлангов, но вода испарялась мгновенно, оставляя на плитке мокрые пятна, которые исчезали за пару минут. Дети с визгом носились вокруг фонтана, хотя фонтан не работал уже месяц — то ли насос сломался, то ли воду экономили. Анастасия держала Сергея под руку, её ладонь была горячей и слегка влажной, и он чувствовал, как пульсирует маленькая жилка на её запястье. Она прижималась к нему плечом и о чём-то задумчиво молчала, и в этом молчании тоже было что-то новое, непривычное. Раньше они болтали без умолку всю дорогу, перебивая друг друга, смеясь над всякой ерундой, но теперь Настя всё чаще замолкала, и Сергей знал, о чём она думает. О той соседке с пятого этажа, у которой сын ушёл добровольцем два месяца назад и не звонил уже три недели. О взрыве на нефтебазе за городом, который был слышен даже у них. О дронах, которые с каждым днём залетали всё дальше вглубь Белогорской Федерации, и уже никто в Озёрске-Северном не чувствовал себя в безопасности.

Бульвар Ландышей встретил их привычной вечерней суетой. Пожилые пары чинно прогуливались по центральной аллее, молодёжь на скейтах объезжала трещины в асфальте, пахло нагретой листвой и выхлопными газами. У ларька стояла небольшая очередь — трое подростков с велосипедами и женщина с коляской. Сергей купил два стаканчика пломбира с шоколадной крошкой — такие же, как всегда, — и протянул один Насте. Она взяла его двумя пальцами, осторожно, будто боялась обжечься холодом, и поднесла к губам. Мороженое тут же начало подтаивать, по вафельному краю потекла белая сладкая струйка, и Настя быстро слизнула её, сморщив нос. Сергей усмехнулся, глядя на неё, и что-то внутри него на мгновение расслабилось, отпустило. Вот оно, счастье, подумал он. Простое, дурацкое, до смешного хрупкое — стоять в жару на пыльном бульваре, есть мороженое и знать, что она рядом.

А потом он услышал звук. Сначала он подумал, что это мотоциклист — в их районе часто гоняли на байках без глушителей, — но звук был не тот. Слишком низкий, слишком глубокий, он проникал не в уши, а в кости, в диафрагму, заставляя всё нутро вибрировать в резонансе. Сергей поднял голову и увидел точку в небе, которая быстро росла, превращаясь в чёткий силуэт. Беспилотник шёл на высоте метров пятьдесят-семьдесят, может, ниже, и мотор его звучал надрывно, захлёбываясь, словно механическое сердце, которое вот-вот остановится.

Время замедлилось. Сергей потом много раз будет вспоминать этот момент и удивляться тому, как много он успел заметить за эти несколько секунд. Он заметил, что правая рука Насти дрожит, и её мороженое уже упало, хотя она этого даже не осознала. Заметил, как женщина с коляской застыла, прижав руку ко рту, и её побелевшие пальцы напоминали мёртвых птиц. Заметил, что один из подростков достал телефон и начал снимать — глупый, бессмертный, как все они в свои четырнадцать, ещё не понимающий, что такое может убить. Заметил, как гулко и часто колотится его собственное сердце, и как пересохло во рту, будто он глотнул раскалённого песка.

Дрон завалился на крыло, и в этом движении была какая-то почти балетная, жуткая грация. Он падал не прямо, а по дуге, целясь в землю так, словно у него была последняя, предсмертная задача — врезаться, взорваться, утащить с собой как можно больше жизней. Сергей схватил Настю за плечи, развернул и толкнул в сторону арки ближайшего дома — того самого недостроя, который они проходили тысячу раз и который всегда казался ему безопасным, почти уютным в своей заброшенности. Они пробежали шагов десять, не больше, и он почувствовал, как воздух вокруг сгущается, становится вязким, а потом мир разлетелся на куски.

Грохот был такой, что на какое-то мгновение Сергей оглох полностью, провалился в ватную тишину, где не было ничего, кроме глухих, неритмичных толчков собственного пульса в барабанных перепонках. Потом тишина лопнула, и его затопил звук — крики, звон осыпающихся стёкол, вой автомобильной сигнализации, чей-то протяжный, звериный плач. Он лежал на земле, придавив Анастасию собой, чувствовал, как в ладонь впиваются мелкие камешки асфальтовой крошки, а где-то в районе левой лопатки расплзается горячая боль — возможно, посекло осколками. Но эта боль была где-то далеко, почти нереальная, потому что всё его внимание было сосредоточено на Насте. Она дышала. Он чувствовал, как поднимается и опускается её грудная клетка, как колотится о его рёбра её сердце — быстро-быстро, словно пойманная в ладонь птаха.

Он приподнялся на локтях и оглянулся. Недостроенное офисное здание, тот самый заброшенный бетонный остов, куда они с пацанами лазали ещё в детстве, было разворочено прямым попаданием. Часть фасада обрушилась, обнажив внутренности здания, и оттуда валил густой, маслянистый дым — чёрный внизу, серый кверху, подсвеченный оранжевыми языками пламени. В воздухе стояла бетонная пыль, оседавшая на волосах, на ресницах, на губах, и у неё был вкус — горький, едкий вкус войны, который Сергей запомнит навсегда.

Анастасия зашевелилась под ним, подняла голову, и в её глазах он увидел то, чего боялся увидеть больше всего, — не испуг, не шок, а какое-то новое, взрослое понимание. Она всё поняла. Не умом — умом они оба понимали это и раньше, когда смотрели новости и читали сводки, — а всем своим существом, каждой клеточкой тела, которое только что было на волосок от гибели. Их обычная жизнь закончилась. Та самая жизнь, в которой были работа на складе и бесконечные коробки Вайлдбериз, планы на отпуск, который они никогда не могли себе позволить, мечты о собственной квартире, субботние прогулки за мороженым, — всё это осталось там, в том мире, который прекратил своё существование в восемь часов тридцать две минуты вечера ровно в тот момент, когда беспилотник вошёл в пике над бульваром Ландышей.

Сергей поднялся, помог подняться Насте, прижал её к себе и почувствовал, как вся она дрожит — не от холода, потому что жара никуда не делась, а от запоздалого ужаса, который теперь будет жить в ней постоянно, меняя её изнутри, как меняет любого человека близость смерти. Откуда-то уже слышался нарастающий вой сирен — «скорые» и пожарные мчались к месту падения, петляя по забитым машинами улицам. Люди выбегали из подъездов, кричали, звали кого-то, кто-то рыдал, прижимая к себе ребёнка, а в небо над Озёрском-Северным поднимался столб дыма, и горело зарево, которое будет видно, наверное, даже из соседних кварталов.

И Сергей стоял посреди этого хаоса, посреди разбитого вечера их обычной субботы, и чувствовал, как внутри него что-то затвердевает. Не озлобленность, нет. Что-то другое — холодная, ясная решимость человека, который наконец понял, что прятаться больше не полу-

чится, что война не где-то там, за горным хребтом, в сводках новостей и политических ток-шоу. Она здесь, в их городе, в их жизнях, в чёрном дыму над бульваром Ландышей. И больное сердце войны теперь бьётся прямо в его груди, и с каждым ударом разносит по телу новую, страшную правду — ты больше не наблюдатель, Серёга. Ты внутри.

## Глава 2. Чёрный снег

Первые секунды после взрыва всегда самые страшные — не потому, что больно или громко, а потому что сознание отказывается верить. Сергей стоял, прижимая к себе Анастасию, и смотрел на то, во что превратился недостроенный офисник. Бетонная коробка, простоявшая десять лет без единого происшествия, теперь зияла рваной пробоиной. Из пролома вырывался огонь — жадный, ревуший, он облизывал перекрытия, словно пробовал их на вкус перед тем, как сожрать целиком. Дым валил клубами, переливаясь оттенками чёрного, серого, а ближе к огню — грязно-жёлтого, и в этом дыму кружилось что-то похожее на снег. Только снег был чёрный. Пепел, ошмётки утеплителя, обгоревшие клочья каких-то бумаг — всё это поднималось в небо, а потом медленно оседало, покрывая землю, машины, людей жирной, сальной плёнкой.

Анастасия первой пришла в себя. Она отстранилась, схватила Сергея за плечи, ощупала его грудь, руки, заглянула в лицо лихорадочно блестящими глазами. Губы её шевелились, но Сергей не слышал слов — в ушах всё ещё стоял тот самый плотный, ватный писк, сквозь который пробивались только отдельные звуки: чей-то крик, похожий на чайчий, удары собственного сердца, хриплое дыхание Насти.

— Ты ранен? Ты ранен, Серёж? — наконец прорвалось сквозь звон, и она дёрнула его за рубашку с такой силой, что пуговица отлетела.

Он мотнул головой, хотя левая лопатка горела, и по спине текло что-то тёплое. Потом, не сейчас. Он огляделся. Бульвар Ландышей, ещё пять минут назад полный вечерней беззаботной жизни, превратился в декорацию к фильму-катастрофе. Люди бежали в разные стороны, не понимая, куда бежать. Женщина с коляской лежала на земле, прикрывая ребёнка своим телом, и над ней уже хлопотали двое мужчин. Подросток, который снимал всё на телефон, опустил руку и заворожённо смотрел на пламя с выражением полного, абсолютного непонимания происходящего — его мозг ещё не обработал картинку. Пахло гарью, горящим пластиком и чем-то сладковато-тошнотворным, чего Сергей не мог опознать, но инстинктивно понимал, что это запах, который лучше не знать.

А потом из горящего здания донёсся крик. Не тот общий, панический крик толпы, а конкретный, направленный, полный ужаса и боли человеческий голос. Сергей замер. Этот крик прорезал ватную тишину в его ушах, как скальпель, и заставил резко обернуться. Кричали там, внутри, на втором или третьем этаже бетонного остова. Кричали долго, надрывно, на одной ноте, и этот крик был страшнее всего, что он слышал в своей жизни.

Анастасия тоже услышала. Она перевела взгляд на здание, потом на Сергея, и в её глазах мелькнуло то, что он видел очень редко, — животный, первобытный страх не за себя, а за него. Потому что она уже знала. Знала, что он сделает, ещё до того, как он сам это осознал.

— Серёжа, нет. Пожарные едут. Слышишь? Уже едут. Серёжа, пожалуйста.

Она вцепилась в его руку двумя руками, повисла на нём всем весом, и её ногти больно впились в запястье. Сирены действительно выли где-то совсем близко, может быть, в соседнем квартале, но Сергей смотрел на здание, на языки пламени, которые уже лизали перекрытия второго этажа, и понимал простую, как лом, истину: пожарные приедут через три минуты, развернут лестницу ещё через две, а человек там, внутри, задохнётся в дыму или сгорит заживо уже сейчас. Прямо сейчас, пока все стоят и смотрят.

Он отцепил пальцы Насти — каждый по отдельности, осторожно, но твёрдо — и посмотрел ей в глаза. У него были серые глаза, обычные, ничего особенного, но в тот момент, как она потом рассказывала, они стали совсем чужими. Чужими и жутко спокойными.

— Я быстро. Стой здесь. Не ходи за мной, слышишь? Обещай.

Она не обещала. Она просто стояла и смотрела, как он бежит к горящему зданию, и губы её тряслись, и слёзы текли по щекам, смешиваясь с чёрной копотью, осевшей на кожу. А Сергей уже не видел этого. Он бежал, перепрыгивая через обломки, через куски арматуры, через то, что ещё недавно было чьей-то машиной, а теперь представляло собой грудку покорёженного, горячего металла. Жар ударил в лицо метров за двадцать до входа — сухой, агрессивный жар, от которого мгновенно пересохли губы и зашипало в носу. Внутренний дворик офисного здания, так и не ставшего офисным, был завален битым кирпичом и стеклянной крошкой, хрустевшей под подошвами кроссовок. Главный вход завалило частично, но сбоку оставался проём.

Он нырнул внутрь.

Первое, что ударило по лёгким, — дым. Густой, маслянистый, он заполнял всё пространство, висел слоями, и Сергей инстинктивно пригнулся, потому что вспомнил что-то из школьного курса ОБЖ — внизу дыма меньше. Чёрт его знает, правда это или нет, но другого плана у него не было. Плана не было вообще. Было только понимание, что там, наверху, кричит человек, и что этот крик постепенно затихает, слабеет, и если он сейчас не успеет, то потом не простит себе никогда. Даже не так — не потом, а прямо сейчас, в эту самую минуту, он знал твёрже, чем что-либо в своей жизни, что если он останется снаружи, прижимая к себе живую и здоровую Настю, то каждую ночь до самой смерти будет слышать этот затихающий крик.

Лестничный пролёт был относительно цел. Ступени, правда, покрылись трещинами, а перила оплавились и висели криво, похожие на восковые свечи в летнюю жару. Сергей перескакивал через две ступеньки, чувствуя, как бетон под ногами вибрирует от огня, бушующего где-то на верхних этажах. Температура росла с каждым метром. Воздух становился всё плотнее, всё горячее, он обжигал горло, и дышать приходилось коротко, поверхностно, через нос, прикрывая рот ладонью.

На площадке второго этажа он остановился на секунду, пытаясь сориентироваться. Крик шёл откуда-то справа, из длинного коридора с голыми бетонными стенами, на которых плясали оранжевые отсветы пламени. Дым здесь был реже — видимо, сквозняк вытягивал его через пролом в фасаде, — и Сергей смог разглядеть обстановку. То, что он принял за пустой остов, на самом деле не было пустым. Какие-то люди, скорее всего бездомные, обжили второй этаж: вдоль стен стояли старые матрасы, грязные, в подозрительных пятнах; валялись коробки с пустыми бутылками; в углу кто-то соорудил подобие стола из поддонов, на котором до сих пор стояла эмалированная кружка с чем-то, что когда-то было чаем. Здесь жили люди. От этой

мысли Сергею стало физически плохо, хотя он сам не понимал почему. Это была какая-то неправильная, вывернутая наизнанку картина: с одной стороны, бездомные, о которых никто не заботился, с другой — беспилотник, который целился неизвестно куда, а попал в их убежище.

Он двинулся по коридору, перешагивая через обломки и пригибаясь под низкими балками. Крик превратился в стон, потом в хрип, а потом почти затих. Эта тишина подстегнула Сергея сильнее любого крика, и он рванулся вперёд, уже не разбирая дороги, просто на звук, на память, на интуицию.

Человек лежал в дальней комнате, придавленный упавшей бетонной плитой перекрытия. Вернее, не плитой — её осколком, куском размером с хороший холодильник, который обрушился с третьего этажа. Мужчина, на вид лет сорока-сорока пяти, был в сознании и смотрел на Сергея удивлёнными, почти детскими глазами. У него было худое, измождённое лицо с многодневной щетиной и глубокими морщинами вокруг рта, какие бывают у людей, которые много смеялись в прошлой жизни. Сейчас он не смеялся. Плита придавила ему ногу по самое бедро, и из-под обломка текла лужица крови — не очень большая, но достаточная для того, чтобы Сергей понял: времени мало.

— Эй, мужик, ты меня слышишь? — Сергей опустился на колени рядом с ним, стараясь говорить спокойно, хотя горло драло от дыма, а в голове билась только одна мысль: «Я не подниму эту плиту, я не смогу, господи, я не смогу». — Как тебя зовут? Скажи, как зовут.

— Андрей, — выдохнул мужчина. Губы у него были чёрными от копоти и потрескавшимися, и говорил он с трудом, словно каждое слово вытаскивал из груди. — Андрей Сергеевич. Ты кто?

— Серёга. Тоже Сергей. Тёзка почти. Сейчас я тебя вытащу, Андрей Сергеевич, слышишь? Только ты не дёргайся.

Сергей упёрся плечом в плиту и надавил. Ничего. Плита была тяжёлой, невероятно, чудовищно тяжёлой, и даже не шелохнулась. Он попробовал ещё раз, чувствуя, как от напряжения темнеет в глазах, как хрустят суставы и по спине разливается горячая боль в том месте, куда, видимо, всё-таки попал осколок. Бесполезно. Плита весила килограмм триста, не меньше, и без инструмента, без рычага, без помощи снаружи её было не сдвинуть ни на миллиметр.

А потом помещение наполнил запах бензина — резкий, узнаваемый, страшный. Где-то наверху, наверное, рванула канистра или топливный бак самого дрона, и теперь по перекрытиям сочилась горящая жидкость, рассыпаясь огненными каплями. Одна из таких капель упала в метре от них, на старый матрас, и тот вспыхнул моментально, как будто ждал этого всю свою жизнь. Огонь побежал по коридору, отрезая путь назад, и Сергей с ужасающей ясностью понял: у них, возможно, минута. Одна минута до того, как всё здесь превратится в печь.

— Слушай меня, Андрей Сергеевич, — голос Сергея дрогнул, и он не пытался это скрыть. Плиту не сдвинуть. Ногу не вытащить. Но он не мог оставить человека здесь. Не мог просто встать и уйти, потому что это было бы предательство — не Андрея даже, а самого себя, того Серёги, который смотрел на себя в зеркало каждое утро и считал себя нормальным мужиком. Нормальные мужики не бросают людей гореть заживо. — Будет больно. Очень больно. Ты потерпишь?

Андрей Сергеевич посмотрел на него, на огонь, на свою придавленную ногу, и Сергей увидел, как в его глазах мелькнуло понимание. Мгновенное, жуткое, полное. Он всё понял. Понял, что Сергей не сможет поднять плиту. Понял, что спасти его целиком не получится. Понял, что предстоит выбор, которого быть не должно, но он есть.

— Нет у меня с собой ничего, — выдохнул Андрей, и Сергей скорее угадал слова по губам, чем услышал их. — Тащи давай.

Времени объяснять, что он имел в виду, не было. Сергей огляделся, схватил с пола валявшийся кусок арматуры, подsunул под край плиты и налёг всем весом. Арматура согнулась, но плита чуть приподнялась — на сантиметр, не больше. Этого не хватило бы, чтобы вытащить ногу, но хватило, чтобы ослабить давление. Андрей закричал — страшно, пронзительно, тем самым криком, который Сергей слышал с улицы, — и рванулся вперёд, помогая себе руками. Что-то хрустнуло там, под плитой, что-то, о чём Сергей предпочёл бы не думать никогда, но Андрей продвинулся на полметра.

А потом плита рухнула обратно, и Сергей увидел то, что от неё осталось. Нога была не просто сломана — раздроблена, сплющена, превращена в кровавое месиво. Но Андрей был свободен. И живой. И даже в сознании, хотя глаза его закатились, и он тяжело, сипло дышал, закусив губу до крови.

Пожар разрастался. Потолок в конце коридора уже провис, и сквозь дыры сыпались искры, как фейерверк на чёртовом дне рождения смерти. Сергей подхватил Андрея под мышки и поволок к лестнице. Тот был тяжёлым, неожиданно тяжёлым для такого худого человека, но адреналин делал своё дело, и Сергей тащил его, рывками, спотыкаясь, падая, снова поднимаясь — тащил через горящий коридор, сквозь дым, сквозь жару, которая к этому моменту стала почти невыносимой. Одежда на нём дымилась, кожа на лице горела, как после долгих часов под палящим солнцем, но он не останавливался.

Лестница. Ступени вниз. Андрей потерял сознание и теперь висел на нём мёртвым грузом. Одна ступенька, вторая, третья. Сергей считал их, чтобы не думать о том, что воздух кончается, что огонь уже лижет перила, что он не знает, где выход и не завалило ли его окончательно. Четырнадцатая ступенька, пятнадцатая. Последний марш.

Он вывалился из здания через тот же боковой проём, буквально выпал наружу, увлекая за собой Андрея, и они оба рухнули на бетонную крошку внутреннего дворика. Свежий воздух — пусть даже смешанный с гарью и пеплом — показался слаще всего на свете. Сергей лежал на спине, хватая его ртом, как выброшенная на берег рыба, и небо над ним было серым от дыма, но оно было. Небо, а не бетонная плита. Не огонь. Не крик.

Чьи-то руки подхватили Андрея, потащили к «скорой», которая уже стояла с распахнутыми дверями. Сергей услышал, как кричат санитары, как кто-то командует носилки, быстро, быстро. А потом другое лицо заслонило небо — лицо Анастасии, перепачканное слезами, копотью и чем-то ещё, что он не успел разобрать, потому что она упала на него сверху, прижалась, вцепилась в дымящуюся рубашку и зарыдала в голос, в тот самый голос, который он не слышал у неё никогда, — страшный, утробный, нечеловеческий плач, в котором смешалось всё: облегчение, ужас, ярость, непонимание, любовь.

— Дурак, дурак, ты зачем, ты зачем туда полез, я же просила...

Она била его кулаками в грудь, совсем не больно, а он лежал и смотрел в небо, и чувствовал, как по обожжённым щекам текут слёзы — не от боли, не от страха, а от чего-то другого, чему он ещё не нашёл названия. Может быть, это была благодарность судьбе за то, что он жив. Может быть, стыд за то, что на секунду, там, на втором этаже, когда плита не поддалась, он думал о том, чтобы бросить Андрея и спастись самому. Может быть, то самое больное сердце войны, которое теперь билось в его груди и с каждым ударом меняло его навсегда.

Из здания, которое они только что покинули, вырвался последний, самый яростный язык пламени, и крыша с грохотом обрушилась внутрь, подняв тучу искр и пепла. Приехавшие наконец пожарные уже разворачивали рукава, но было поздно — спасать там было нечего и некого. Сергей повернул голову и увидел, как «скорая» с Андреем, включив мигалки, вырывается с бульвара и уносится в сторону больницы. Живой. Он всё-таки вытащил его.

Анастасия всё ещё плакала, уткнувшись ему в плечо, а он гладил её по волосам чёрной от копоти ладонью и молчал. Говорить не было сил. Да и нечего было говорить — все слова остались там, на втором этаже горящего недостроя, откуда он вынес не только человека, но и что-то новое о себе самом. Что-то, что ему ещё предстояло осмыслить, но уже сейчас он знал: после этой субботы он больше не будет прежним. Никто из них не будет.

### Глава 3. Аккорды на осколках

Прошло две недели. Озёрск-Северный зализывал раны — коммунальщики застеклили выбитые окна в соседних с бульваром домах, дорожники залатали воронку на проезжей части, а недостроенный офисник обнесли жёлтой лентой и выставили оцепление. Жизнь, как это всегда бывает, пыталась притвориться нормальной. Но нормальной она уже не была. Сергей чувствовал это кожей — в воздухе появилось новое электричество, тревожное, колючее, оно потрескивало в каждом разговоре, в каждом взгляде, брошенном в небо, в каждом гудке автомобиля, который теперь заставлял вздрагивать и пригибаться.

Его рана на спине оказалась неглубокой — осколок стекла чиркнул по касательной, оставив длинный, но неопасный порез. В травмпункте ему наложили восемь скоб, выдали больничный на неделю и велели не геройствовать. Геройствовать не хотелось. Хотелось спать, и есть, и смотреть на Анастасию, которая после того вечера почти не отходила от него, будто боялась, что он снова исчезнет в дыму. Она взяла отгулы на работе, и они провели несколько дней просто вдвоём — молчали, смотрели старые фильмы, держались за руки, засыпали и просыпались вместе, словно заново привыкая к тому, что оба живы.

Но мир за окном не молчал.

Прилёты продолжались. Теперь они случались почти каждую ночь — где-то гремело, где-то вспыхивало зарево, где-то выли сирены, и Озёрск-Северный постепенно привыкал к этому новому ритму, как привыкает человек к хронической боли. Днём город ещё пытался жить — открывались магазины, ходили автобусы, дети катались на самокатах, — а с наступлением темноты улицы пустели, окна заклеивали скотчем крест-накрест, и люди уходили в подвалы, в коридоры без окон, в ваннные комнаты, где можно было переждать очередную волну.

На десятый день после пожара Сергею позвонили. Номер был незнакомый, и он взял трубку с тем особенным напряжением, с каким теперь брал любую трубку — потому что звонок мог означать и плохую новость о ком-то из родных, и вызов на работу, и что-то совсем неожиданное. На этот раз это было третье.

— Серёга? Это Андрей. Ну, Андрей Сергеевич. Которого ты из огня вытащил.

Голос был слабый, но твёрдый, и в нём проскальзывали те самые интонации, которые Сергей запомнил там, в горящем здании, — интонации человека, который когда-то много смеялся, а потом перестал. Андрей лежал в городской больнице, ему ампутировали ногу выше колена, но он выжил. Врачи сказали, что ещё бы пять минут — и не спасли бы. Сергей слушал его, сжимая телефон в ладони, и чувствовал странное облегчение, смешанное с новой, ещё не осознанной ответственностью. Он спас человека. Этот человек теперь живой, говорит, даже шутит — мрачно, с надрывом, но шутит. Значит, всё было не зря.

— Ты это, Серёга, — Андрей помолчал, прокашлялся. — Ребята мои хотят тебя увидеть. Ну, те, с кем я там жил. Кто уцелел. Приходи в среду вечером в подвал на Цветочной, двадцать четыре. Это через два дома от меня. Я пока на коляске, меня довезут. Придёшь?

Сергей пришёл.

Подвал на Цветочной, 24 оказался старым бомбоубежищем, законсервированным ещё в те времена, когда война была лишь гипотетической возможностью, а не ежедневной реальностью. Тяжёлая металлическая дверь, облупившаяся краска на стенах, тусклые лампы под потолком, гудевшие на одной ноте, как пойманные шмели. Но внутри, в дальнем отсеке, за рядом пыльных стеллажей, люди обустроили нечто совсем иное. Кто-то притащил старые диваны и кресла, найденные на помойках и отмытые до относительной чистоты. Кто-то развесил по стенам выцветшие плакаты с видами гор и океанов — окон здесь не было, и эти плакаты заменяли пейзажи. На столе, сколоченном из досок, стояли термос с чаем, банка растворимого кофе, вазочка с печеньем, упаковка дешёвых конфет. А в углу, на деревянном ящике, лежала гитара.

Старая, потёртая, с наклейкой «Ленинград» на деке и трещиной на нижней обечайке, которую кто-то заклеил скотчем. Шесть струн, три из которых явно знавали лучшие времена, но всё ещё звучали. Гитара лежала там как обещание — как напоминание о том, что даже здесь, под землёй, под грохот обстрелов, люди всё ещё хотят петь.

Андрей сидел в инвалидной коляске у стены, укрытый пледом ниже пояса, и, увидев Сергея, широко, открыто улыбнулся. У него было новое, осунувшееся лицо — за две недели он постарел лет на десять, — но глаза блестели живо, и в них читалась та самая, неистребимая человеческая искра, которая не гаснет даже в самые тёмные времена.

— Знакомьтесь, — громко сказал он, обводя рукой собравшихся. — Тот самый парень. Серёга. Вытащил меня, дурака. Если бы не он, лежал бы я сейчас не в больнице, а в море, и вы бы тут без меня чай гоняли.

В подвале было человек пятнадцать — разного возраста, разного вида, но все с одинаковым отпечатком на лицах: отпечатком людей, оставшихся без дома не по своей воле. Бывшие строители, бывший учитель, бывшая медсестра, бывший повар, просто потерявшиеся, выпавшие из системы, не нужные никому, кроме друг друга. Они смотрели на Сергея с тем особен-

ным, немного неловким любопытством, с каким смотрят на человека, совершившего что-то, чего они сами от себя не ожидали бы. И в их взглядах читалось не только уважение — там была ещё и печаль, потому что его поступок, каким бы героическим он ни казался со стороны, был лишь ещё одним свидетельством того, во что превратилась их жизнь.

Но никто не стал говорить пафосных речей. Вместо этого сухонький старик по имени Михалыч, бывший учитель литературы, разлил по кружкам горячий чай, а женщина, которую все называли просто тётя Тамара, придвинула Сергею тарелку с домашними пирожками — откуда взялись домашние пирожки в подвале, оставалось загадкой, но пахли они так, что у Сергея защемило где-то глубоко внутри, в том месте, где хранились воспоминания о бабушкиной кухне.

А потом Андрей попросил гитару.

Кто-то протянул ему инструмент, и он взял его бережно, как берет младенца, ощупал гриф, подкрутил колки, пробежал пальцами по струнам. Пальцы у него были длинные, музыкальные — Сергей сразу это заметил, хотя раньше как-то не приходило в голову, что у бездомного могут быть музыкальные пальцы. Андрей ударил по струнам, и подвал наполнился звуком — негромким, чуть дребезжащим из-за скотча на деке, но живым, настоящим, тёплым.

Он запел. Голос у него оказался низкий, с хрипотцой, прокуренный, пропитый, прожитый, но невероятно душевный. Он пел старую песню — из тех, что пели ещё их родители, а может, и деды, — о любви, которая не ржавеет, о ветре, который уносит печали, о доме, который всегда ждёт. И в этом пении было что-то такое, отчего у Сергея перехватило горло. Потому что дома у них больше не было — у этих людей, ютящихся в бомбоубежище. У самого Андрея не было дома много лет. Да и у него самого, у Сергея, дома в прежнем понимании слова, наверное, тоже уже не было — был только город, в котором взрываются беспилотники, и квартира на седьмом этаже с окнами, заклеенными скотчем, и Анастасия, которая боится его отпустить на работу.

Но песня всё равно звучала.

Потом гитару взял другой парень, помоложе, по имени Дима — худой, угловатый, с татуировками на костяшках пальцев и вечно виноватой улыбкой. Он оказался самоучкой, играл простенько, всего на трёх аккордах, но с таким драйвом и энергией, что сидеть на месте было невозможно. Он заиграл что-то ритмичное, дворовое, и через минуту половина подвала уже подпевала, хлопая в ладоши, а кто-то даже пустился в пляс — прямо между диванами, в тусклом свете гудящих ламп, в двух метрах под землёй.

Где-то наверху, на поверхности, снова завывали сирены. Вой был далёким, приглушённым бетонными перекрытиями, но все его услышали. Дима сбился с ритма, замер на мгновение, оглянулся на входную дверь. Повисла короткая, наполненная напряжением пауза — такое молчание бывает только там, где люди научились слушать небо. А потом тётя Тамара сказала спокойно, буднично, как говорят о погоде: «Опять летит, зараза», — взяла из вазочки конфету и развернула фантик. И жизнь продолжилась.

Дима тряхнул головой, будто отгоняя дурные мысли, и заиграл снова — на этот раз что-то быстрое, озорное, почти частушки. Андрей подхватил вторым голосом, пусть и сидя в своей коляске, пусть и без ноги, пусть и после всего, что с ним случилось. Михалыч, бывший учитель,

начал отбивать ритм ладонями по столу — неумело, но старательно. Тётя Тамара смеялась, прикрывая рот ладонью. Двое парней в углу, до этого молчаливые и мрачные, заулыбались и начали переглядываться, вспоминая слова.

А потом случилось то, чего Сергей не ожидал.

Где-то наверху грохнуло — громче, ближе, чем раньше. Стены подвала дрогнули, с потолка посыпалась пыль, одна из ламп замигала и погасла. Кто-то вскрикнул, кто-то пригнулся, закрывая голову руками. Сергей почувствовал, как внутри всё сжалось в знакомый, уже привычный комок страха — того самого страха, который он испытал на бульваре Ландышей и который теперь жил в нём постоянно, лишь иногда затихая.

Но Дима не остановился. Он продолжал играть. Его пальцы дрожали — видно было, — но он продолжал перебирать струны, и мелодия звучала, неровная, сбивчивая, но живая. А затем он, словно бросая вызов всему, что грохотало наверху, запел ещё громче. И к нему присоединились другие — сначала неуверенно, потом всё смелее, всё громче, перекрикивая вой сирен и гул разрывов. Они пели все вместе, и это был не стройный хор, а какофония голосов — высоких и низких, чистых и хриплых, попадающих в ноты и безнадежно фальшивящих. Но в этой какофонии было что-то такое мощное, такое первобытное, что Сергей почувствовал, как по коже бегут мурашки.

Он тоже запел. Он не знал слов, не знал мотива, но это было неважно — он просто открыл рот и издавал звуки, вплетая свой голос в общий гул. И в этом пении было освобождение. Освобождение от страха, от бессилия, от гнетущего ожидания следующего удара. Они пели, и смеялись между куплетами, и снова пели, и подвал наполнился жизнью — упрямой, неистребимой жизнью, которая не желала сдаваться даже под бомбами.

А потом грохот стих. Сирены ещё выли какое-то время, но уже тише, удаляясь. Прилёт оказался в соседнем районе — далеко, но достаточно близко, чтобы напомнить о себе. Лампа над столом снова замигала и зажглась, осветив лица людей, раскрасневшиеся, взволнованные, но улыбающиеся. Тётя Тамара подошла к Сергею и сунула ему в руку ещё один пирожок, тёплый, завёрнутый в салфетку.

— Ты ешь, ешь, Серёженька, — сказала она с какой-то материнской интонацией, от которой у него снова защипало в носу. — Худой вон какой. И Настю свою приводи в следующий раз. Чего ей одной дома сидеть да бояться? Здесь вместе не так страшно.

Андрей подъехал на коляске поближе, и гитара всё ещё лежала у него на коленях. Он посмотрел на Сергея долгим взглядом, в котором смешалось многое — благодарность, грусть, мудрость человека, потерявшего почти всё и всё равно находящего силы петь.

— Знаешь, Серёга, — сказал он негромко, так, чтобы слышал только он. — Я ведь раньше на заводе работал, давно ещё. Мастером цеха. Квартира была, жена, дочка маленькая. А потом всё рухнуло — нет, не война ещё, просто жизнь. Жена ушла, дочку забрала, я запил. Дом потерял, работу потерял, себя потерял. Думал, что уже всё, конец. А теперь смотрю на тебя и думаю — нет, не конец. Пока такие, как ты, есть, ничего не конец.

Сергей не нашёлся, что ответить. Он просто кивнул, сжимая в ладони тёплый пирожок, и подумал, что это, наверное, и есть то самое, ради чего он полез в горящее здание. Не ради

геройства, не ради благодарности, не ради того, чтобы его называли спасителем. А ради вот этого — чтобы человек, потерявший всё, смог сидеть с гитарой в подвале и петь. Чтобы тётя Тамара пекла пирожки. Чтобы Михалыч отбивал ритм по столу. Чтобы Дима играл на трёх аккордах, не обращая внимания на вой сирен. Чтобы смех звучал громче взрывов.

Поздно вечером, когда он возвращался домой через тёмный, притихший город, в голове у него всё ещё звучали те песни. Он шёл мимо заклеенных скотчем окон, мимо мешков с песком, которыми обкладывали витрины, мимо людей, спешащих укрыться до наступления комендантского часа, и думал о том, что война — это не только дроны, ракеты и сводки потерь. Война — это ещё и подвалы с гитарами. И песни, которые поют, перекрикивая грохот. И люди, которые пекут пирожки в бомбоубежище. И смех — странный, неуместный, почти святотатственный смех посреди всего этого ужаса.

Война оголяла всё. Она сдирала с жизни шелуху, оставляя только суть. И суть эта заключалась в том, что человеку нужно не так уж много — тепло, еда, крыша над головой, любимый человек рядом и иногда, хотя бы иногда, песня под гитару.

Дома его ждала Анастасия. Она сидела на кухне при свете одной тусклой лампочки — светомаскировка, ничего не подделаешь — и читала какую-то книгу, накинув на плечи старый плед. Увидев Сергея, она отложила книгу и улыбнулась, и эта улыбка, усталая, но тёплая, была лучшей песней из всех, что он слышал за этот вечер.

— Ну как там? — спросила она, подвигаясь, чтобы дать ему место на табурете.

— Живые, — ответил Сергей, притягивая её к себе и утыкаясь носом в макушку. От её волос пахло каким-то простым шампунем, и этот запах был якорем, удерживающим его в реальности. — Играли на гитаре. Пели. Тётя Тамара пирожки печёт. Просила тебя в следующий раз прийти.

— Пирожки? В подвале? — Анастасия тихо рассмеялась, и смех этот был как глоток чистой воды после долгой жажды.

— В подвале, — подтвердил Сергей. — Пойдём в среду?

Она помолчала, глядя в тёмное окно, за которым не было видно ни звёзд, ни неба — ничего, кроме собственного отражения. Потом кивнула.

— Пойдём.

Он сидел в полутёмной кухне, обнимая её, и чувствовал, как внутри разливается что-то новое — не радость, нет, радость сейчас была бы неуместна. Скорее, тихое, спокойное понимание. Понимание того, что пока они есть друг у друга, пока в подвале на Цветочной звучит гитара, пока тётя Тамара печёт пирожки, а Андрей поёт свои прокуренные песни — до тех пор война не победила. И не победит. Потому что нельзя победить людей, которые поют.

#### Глава 4. Где наша защита

Это началось не в Озёрске-Северном. Сначала закипел Дальнегорск — областной центр в трёхстах километрах к югу, большой город с миллионным населением, университетами, пло-

щадями и традицией гражданских протестов, уходящей корнями ещё во времена студенческих волнений двадцатилетней давности. Туда прилетело три дня подряд, и не по окраинам, а по центру — по жилым кварталам, по рынку, по больнице. Погибли дети. Много детей. И когда по новостям показали кадры — развороченное родильное отделение, одеяльце в крови, женщину, воющую на руинах так, что звукорежиссёр не успел убрать звук, — что-то в людях надломилось. Окончательно. Бесповоротно.

Сергей видел эти кадры по телевизору в комнате отдыха на складе. Он стоял с кружкой остывшего чая и смотрел, как экран заполняется дымом, криками, чьими-то руками, тянущимися из-под завалов, и чувствовал, как внутри поднимается волна — не печали даже, а глухой, тяжёлой ярости, смешанной с полным, абсолютным непониманием. Кто это делает? Зачем? Какая стратегическая цель у родильного отделения? Какие переговоры, какие договорённости, какая, к чёрту, политика, когда гибнут новорождённые, даже не успевшие открыть глаза?

Он посмотрел на своих коллег — мужиков, с которыми таскал паллеты уже несколько лет. Вадик, здоровенный детина с вечно хмурым лицом, стоял, привалившись к дверному косяку, и молча смотрел в пол. Его младшая сестра была беременна, ждала двойню. По лицу Вадика нельзя было ничего прочитать — оно было каменным, неподвижным, — но кулаки его сжимались и разжимались в такт чему-то, слышимому только ему. Петрович, пожилой кладовщик с седыми усами, сидел за столом и вертел в пальцах незажжённую сигарету, хотя курить в помещении запрещалось и он сам штрафовал за это остальных. Никто не произнёс ни слова. Да и что тут можно было сказать? Все слова кончились.

А на следующий день начались митинги.

Сначала Дальнегорск. Центральная площадь, запруженная людьми так, что не было видно брусчатки. Десятки тысяч человек — по разным оценкам, от тридцати до пятидесяти, — пришли без призывов, без организаторов, без лидеров. Просто люди вышли из своих домов с одним вопросом, который теперь звучал везде — на кухнях, в маршрутках, в очередях за хлебом, в цехах и офисах, в школьных классах и больничных палатах. Где защита? Почему воюют обычные люди? Почему система ПВО, о которой столько говорили по телевизору, не сработала? Почему дроны долетают до родильных домов, а ответственные лица отчитываются об успешных перехватах? И главное, самое страшное, самое невысказанное, но висящее в воздухе — доколе?

Озёрск-Северный подхватил волну на третий день.

Сергей узнал об этом от Анастасии. Она прибежала с работы раньше обычного — на Вайлдбериз объявили простой, потому что половина сотрудников просто не вышла в смену, — и с порога выпалила, что весь город стоит. Главная площадь перед администрацией, парк у фонтана, перекрёсток у торгового центра — везде люди. С плакатами, с цветами, с детскими игрушками, которые несли к стихийному мемориалу. И она хочет туда. И он должен пойти с ней.

Он не спорил. Внутри него всё клокотало с того самого момента, как он увидел кадры из Дальнегорска, и это клокотание требовало выхода. Они накинули куртки — погода испортилась, с севера пришёл холодный фронт, и небо над городом было серым, низким, под стать настроению, — и вышли на улицу.

Их встретил Озёрск-Северный, какого Сергей никогда раньше не видел.

Площадь перед зданием городской администрации напоминала живое море. Люди стояли так плотно, что между ними невозможно было протиснуться, и это море колыхалось, дышало, гудело сотнями голосов. Плакаты вздымались над головами, как паруса, и надписи на них были простыми, рублеными, отчаянными. «Наши дети не мишени». «Где ПВО?». «Защитите город». «Мы не хотим умирать». «Почему молчат?». У некоторых в руках были фотографии — родственников, погибших при последних обстрелах, или просто незнакомых детей из Дальнегогорска, чьи лица теперь смотрели с каждого экрана. Кто-то принёс мягкие игрушки и складывал их в общую гору у подножия памятника — плюшевые медведи, зайцы, куклы, они лежали там грудой, мокли под начинающимся дождём и выглядели так пронзительно беззащитно, что у Сергея перехватило дыхание.

Анастасия шла рядом, сжимая его локоть, и её лицо было бледным и сосредоточенным. Она не плакала — она смотрела на всё это огромными, сухими глазами, и в этих глазах было что-то новое, чего Сергей раньше не замечал. Не ярость, нет. Скорее, горькое, разочарованное взросление. Она, как и все здесь, как и весь город, как и вся Белогорская Федерация, переходила из состояния «всё как-нибудь обойдётся» в состояние «обойдётся только если мы сами».

Толпа скандировала.

Сначала нестройно, отдельными выкриками, потом всё более слаженно, всё более ритмично, подхватывая друг у друга слова. «Где защита? Где защита? Где защита?» — этот вопрос бился в воздухе, как пульс огромного, разгорячённого сердца, и ему вторили сотни глоток. Какая-то женщина рядом с Сергеем кричала так, что на шее вздувались жилы, и по её щекам текли слёзы, смешанные с дождём. «У меня двое, — кричала она, не обращая ни к кому конкретно, просто в воздух, в небо, в серые окна администрации, за которыми никто не появлялся. — Двое! Как мне их защитить? Как? Вы мне скажите, как?»

Никто ей не ответил.

Сергей оглядывался по сторонам и видел лица — разные, очень разные. Молодые пары с детьми на плечах, пожилые мужчины с орденскими планками на пиджаках, студенты, рабочие, продавщицы из магазинов, офисные служащие в мятых рубашках. Здесь были все. И всех объединяло одно — чувство брошенности. Это было не просто недовольство, не просто страх. Это было леденящее, экзистенциальное одиночество перед лицом опасности. Люди чувствовали себя оставленными. Те, кто должен был их защищать, — где они? Где система оповещения, которая срабатывала бы до того, как беспилотник входит в пике? Где бомбоубежища, оборудованные и доступные? Где внятная информация вместо общих фраз и бодрых отчётов?

Где защита?

Сергей не знал ответа. Он стоял в толпе, держал Настю за руку и чувствовал, как внутри растёт что-то тёмное, незнакомое, пугающее. Не просто злость — злость была бы понятной, ожидаемой. Нет, это было что-то глубже. Разочарование? Обида? Или, может быть, то самое осознание, которое приходит к человеку в момент, когда он понимает: рассчитывать можно только на себя. Не на государство, не на военных, не на политиков с их круглыми фразами — только на свои руки, на своих соседей, на таких же испуганных и решительных людей вокруг.

А потом толпа начала двигаться.

Кто-то впереди закричал: «К мэрии! Пусть выйдут! Пусть скажут нам в глаза!» — и людское море качнулось и потекло к зданию администрации. Сергей и Анастасия оказались в самой гуще, их несло потоком, и он чувствовал, как нарастает напряжение. Это уже не был мирный митинг — вернее, он оставался мирным, но воздух сгустился до состояния перед грозой, когда ещё не грянул гром, но всё вокруг уже звенит от статического электричества. Где-то на периферии, у самых дверей мэрии, замелькали люди в форме — охранники, полиция, может быть, кто-то ещё. Но они ничего не предпринимали. Просто стояли и смотрели на толпу, и на их лицах читалась та же растерянность, что и на лицах митингующих.

Двери мэрии оставались закрытыми. Окна на верхних этажах были тёмными. Никто не вышел. И от этого молчания, от этой глухой, чиновничьей тишины, толпа завелась ещё сильнее. Крики становились громче, агрессивнее, в них уже слышались не только вопросы, но и угрозы. Какой-то мужчина с безумными глазами швырнул в сторону здания пустую бутылку, и она разбилась о стену с глухим, окончательным звуком. Женщина с детской игрушкой в руках рыдала, упав на колени прямо на мокрый асфальт. Динамики чьего-то телефона хрипели скандированиями, и этот хрип накладывался на общий гул, создавая какофонию, от которой закладывало уши.

Анастасия вдруг остановилась.

Сергей дёрнулся, пытаясь утянуть её дальше, прочь от эпицентра, где толпа становилась всё плотнее и агрессивнее, но она стояла как вкопанная. Её лицо было мокрым от дождя, волосы прилипли ко лбу, глаза блестели лихорадочно и страшно.

— Они не выйдут, Серёжа, — сказала она тихо, почти шёпотом, но он услышал каждое слово сквозь гул толпы. — Они никогда не выйдут. Неужели ты не понимаешь? Им всё равно. Они нас не слышат.

В её голосе было столько горечи, столько разъедающей душу безнадеги, что у Сергея похолодело внутри. Он вдруг увидел её не как свою Настю, девушку, с которой они ходили за мороженым и смотрели старые фильмы, а как часть этой огромной, брошенной, преданной толпы. Как человека, который за три недели после того взрыва на бульваре Ландышей прошёл путь от растерянного страха до жгучего, осознанного гнева.

— Нас никто не защитит, — продолжала она, всё тем же тихим, страшным голосом. — Мы сами. Только сами.

Сергей не нашёлся с ответом. Да и не нужен был ответ — всё уже было сказано. Он просто прижал её к себе и стоял так, посреди кричащей, бурлящей площади, посреди серого дождя и серого неба, посреди города, который больше не верил обещаниям.

Митинг продолжался до темноты. Люди не расходились, несмотря на дождь, несмотря на холод, несмотря на то, что с наступлением вечера находиться на улице становилось всё более рискованно — комендантский час никто не отменял, да и дроны, как показал опыт, любили прилетать именно в сумерках. Но страх перед беспилотниками уступил место другому страху — страху перед собственной беспомощностью. И победить этот страх можно было только одним способом: стоять здесь, вместе, плечом к плечу, и требовать ответа.

Когда совсем стемнело, кто-то принёс свечи. Маленькие, парафиновые, те, что обычно продаются в хозяйственных магазинах на случай отключения света. Их зажигали одну за другой, и площадь постепенно покрывалась огоньками — неровными, дрожащими на ветру, но упрямо горящими. Это было красиво и жутко одновременно. Свечи ставили прямо на мокрый асфальт, на парапеты, на ступени памятника. Их пламя отражалось в лужах, двоилось, троеилось, и площадь казалась залитой жидким, дрожащим золотом.

Сергей и Анастасия ушли с площади уже затемно, когда голоса охрипли, а ноги гудели от многочасового стояния. Они брели домой через притихшие улицы, мимо тёмных витрин и заклеенных скотчем окон, мимо людей, которые так же, как они, молча возвращались с митинга, унося с собой плакаты, свечи и тяжёлое, горькое похмелье от осознания собственного бессилия.

Дома они долго сидели на кухне без света, просто держась за руки в темноте. Говорить не хотелось. Все слова, которые можно было сказать, уже отзвучали там, на площади. Осталось только это — сидеть вдвоём, слушать, как капли дождя барабанят по жестяному отливу за окном, и чувствовать, как внутри медленно, неохотно, но всё же оседает та самая ярость, уступая место чему-то другому.

Чему — Сергей пока не понимал. Может быть, это была решимость. Может быть — усталость. А может быть — то самое новое знание, которое приобрёл не только он, но и весь город за этот день: они теперь одни. И нужно учиться жить с этим.

## Глава 5. Огненный горизонт

Нефтеперерабатывающий завод имени Двадцатилетия Федерации загорелся в три часа ночи. Те, кто жил в восточных районах Озёрска-Северного, проснулись не от сирен — сирены выли каждую ночь, к ним уже привыкли, — а от света. Странного, неестественного, оранжево-багрового света, который заливал комнаты сквозь задёрнутые шторы, заставляя тени плясать на стенах, как в театре ужасов. Горизонт на востоке полыхал так, будто там восходило второе солнце — только не жёлтое и тёплое, а злое, кровавое, пожирающее небо.

Сергей проснулся оттого, что Анастасия трясла его за плечо. Он сел на кровати, ещё не понимая, что происходит, и увидел в окне зарево. Такое яркое, что можно было читать книгу, не включая свет. Такое близкое, что, казалось, огонь подобрался к самому их дому. Он вскочил, босиком подбежал к окну и замер.

Завода не было видно из их района — он находился в двенадцати километрах к востоку, за промзоной и пустырём, — но сейчас эти двенадцать километров не значили ничего. Огромный, чудовищный столб пламени поднимался над землёй, и его отражение дрожало в низких тучах, окрашивая всё небо в оттенки ада. Дым валил такой густой, что казался твёрдым, — маслянистый, чёрный, он расползался во все стороны, и ветер нёс его в сторону города.

В ту ночь никто больше не спал. Люди выходили на балконы, стояли на улицах, смотрели на восток и молчали. Это было слишком огромно, слишком чудовищно, чтобы комментировать. Завод, на котором работали тысячи людей, завод, который давал топливо всему региону, горел, как спичечная головка, и вместе с ним горело что-то ещё — хрупкая, и без того подорванная вера в то, что худшее уже позади. Что дальше отступать некуда. Что дно достигнуто.

Дно продолжало проваливаться.

Пожар тушили почти трое суток. Пожарные расчёты стянули со всей области — из Дальнегорска, из соседних районов, даже из столицы прислали специальный авиаотряд. Вертолёты кружили над горящим заводом, сбрасывая воду, но это было всё равно что плевать в вулкан. Огонь пожирал резервуары с бензином, с дизелем, с авиационным керосином, с мазутом — миллионы литров топлива, превращающиеся в чёрный дым и нестерпимый жар. Столб пламени, говорят, поднимался на высоту двухсот метров, и его было видно из соседних городов. А когда ветер менялся, на Озёрск-Северный опускался смог — едкий, удушливый, от которого першило в горле и слезились глаза.

К тому моменту, когда пожар наконец потушили, от завода остались только остовы резервуаров, скрученные жаром, похожие на скелеты доисторических чудовищ. Погибли двенадцать человек — рабочие ночной смены, которые оказались на территории в момент попадания. Ещё тридцать четыре попали в больницу с ожогами разной степени тяжести. А город остался без топлива.

Это стало ясно не сразу. Первые два дня после пожара всё ещё работали на остатках — на том, что было в хранилищах, в бензовозах, уже отправленных в путь, в подземных резервуарах заправок. Бензин был, но его становилось всё меньше с каждым часом, и люди это чувствовали. Сначала просто перешёптывались в очередях. Потом начали звонить друг другу, передавая информацию — на Заречной ещё есть, на Лесной уже нет, на Центральной только по талонам. А потом всё рухнуло разом.

В пятницу утром Сергей, как обычно, собирался на работу. Его старенький «Меридиан» — неказистый, но надёжный седан, купленный три года назад на последние сбережения, — стоял у подъезда с почти пустым баком. Лампочка уровня топлива загорелась ещё в четверг, и Сергей решил заправиться по дороге, не придав этому значения. Он проехал мимо первой заправки — «БелПетрол» на перекрёстке Советской и Мира — и увидел нечто, заставившее его нажать на тормоз.

Очередь. Огромная, змеящаяся, выходящая далеко за пределы заправочной станции очередь из машин. Десятки автомобилей стояли в три ряда, перегородив проезжую часть, и водители выходили из них, курили на обочине, нервно жестикулировали, кричали друг на друга. На выезде с заправки висела табличка, наспех намалёванная на куске картона: «БЕНЗИНА НЕТ». Сергей моргнул, не веря глазам, и поехал дальше.

На второй заправке была та же картина. На третьей — тоже. Четвёртая, небольшая частная заправка на окраине, оказалась закрыта вовсе — ворота заперты, окна заколочены, на двери висел замок. Пятая, последняя на его маршруте, работала, но очередь к ней растянулась на полкилометра, и на табло у въезда горели страшные, как приговор, слова: «ТОЛЬКО ПО ТАЛОНАМ. НАЛИЧКА НЕ ПРИНИМАЕТСЯ».

Никаких талонов у Сергея не было.

Он стоял у своей машины, смотрел на эту очередь, на хмурых, усталых, злых людей вокруг, и чувствовал, как внутри закипает знакомая, уже испытанная на митингах смесь бессилия и ярости. Вот оно, значит, как. Сначала дроны. Потом митинги, на которые никто не

вышел. Потом завод. А теперь это — бензиновый голод, парализующий город, который и так едва дышал.

Эти дни вошли в историю Озёрска-Северного как «топливные бунты». История — громкое слово для того, что происходило на самом деле: для стихийных, отчаянных, неорганизованных вспышек гнева, которые вспыхивали то тут, то там, как бензиновые лужи от брошенной спички. Люди, доведённые до ручки отсутствием топлива, невозможностью добраться до работы, до больницы, до родственников, выходили на улицы уже не с плакатами, а с пустыми канистрами в руках.

Первая потасовка случилась на заправке у автовокзала. Какой-то мужчина на внедорожнике попытался пролезть без очереди — то ли по благу, то ли просто нагло, пользуясь габаритами своей машины. Его вытащили из-за руля, повалили на асфальт, и через минуту там уже кипела свалка из десятка тел. Приехала полиция, но полицейские машины сами стояли с пустыми баками, и стражи порядка выглядели такими же измученными и растерянными, как все остальные. Они разняли драку, но никого не арестовали — арестовывать было некуда, не на чем везти, да и незачем. Все понимали: люди злы не друг на друга. Люди злы на пустоту, на неизвестность, на государство, которое не может их защитить или хотя бы объяснить, что происходит.

Сергей добирался до работы пешком. Это заняло полтора часа вместо обычных двадцати минут, и он пришёл взмокший, пыльный, с натёртыми мозолями на пятках. Склад работал вполсилы — половина сотрудников не смогла добраться, вторая половина бессмысленно бродила между стеллажами, потому что отгрузки не было. Транспорт стоял. Бензовозы, которые обычно увозили стройматериалы по всей области, замерли в гараже с сухими баками. Сергей смотрел на этот паралич, на этот медленный, мучительный коллапс привычной жизни, и думал о том, что война — это не только взрывы. Война — это ещё и вот это. Когда всё, что ты считал само собой разумеющимся, исчезает одно за другим: безопасность, еда, вода, топливо, работа, планы на завтра, сон по ночам, уверенность в том, что ты доживёшь до старости.

На обратном пути он зашёл в подвал на Цветочной. Там было почти так же многолюдно, как в тот вечер с гитарой, но атмосфера изменилась. Никто не пел. Гитара лежала в углу, забытая, покрытая тонким слоем пыли, поднявшейся после последних бомбёжек. Андрей сидел в своей коляске у стены и молча смотрел перед собой. Михалыч перебирал какие-то старые газеты, будто искал в них ответ. Тётя Тамара не пекла — мука кончилась, да и масла не было. Но чай был, горячий, крепкий, и Сергею налили кружку до краёв.

— Бензин-то, — сказал кто-то в темноте, и это слово повисло в воздухе, как приговор.

— Не будет бензина, — отозвался другой голос. — Завод-то — тью-тью. Польшало так, что бетон плавился. Теперь месяц, два, а то и больше — ничего не будет. А без бензина что? «Скорые» встанут. Пожарные встанут. Хлеб в магазины не привезут. Воду — у нас же насосы электрические, а электричество — тоже топливо.

— Война, — подвёл итог Михалыч и аккуратно сложил газету. — Самая настоящая. Не та, что по телевизору показывают, с генералами и картами. А наша. В которой мы живём.

Сергей пил чай и молчал. Он думал об Анастасии. О том, как она поедет на работу, если автобусы встанут. О том, как им закупать продукты, если магазины опустеют. О том, хватит ли

у них денег на то, чтобы купить бензин с рук — а чёрный рынок уже появился, неизбежно, как плесень в сыром подвале, и цены там кусались так, что за литр просили стоимость дневного обеда. Он думал о зиме, которая придёт через несколько месяцев, — зима в Белогорской Федерации суровая, с морозами под тридцать и ветрами, пробирающими до костей. Чем топить дома, если не будет мазута? Чем отапливать больницы? Школы? Детские сады?

Взрыв на заводе был не просто попаданием. Это был удар по артерии, питающей весь организм города. И организм этот начал умирать — медленно, мучительно, но неостановимо.

На выходных Анастасия вернулась из магазина с пустыми руками. Она стояла в прихожей, не снимая куртки, и лицо её было растерянным и каким-то по-детски обиженным. Хлеба не было. Молока не было. Муки не было. Сахар подорожал вдвое, но и тот кончился. Единственное, что удалось купить — пачка соли и банка рыбных консервов с мутной этикеткой, на которой было написано «Килька в томате». Она поставила банку на стол и посмотрела на Сергея так, будто ждала, что он всё исправит. Он обнял её и ничего не сказал. Потому что исправить он ничего не мог.

А потом — как будто всего этого было мало — грянуло электричество. Вернее, его отключение. Энергосистема региона держалась на том же заводе — там, помимо топлива, была своя ТЭЦ, обеспечивавшая электричеством половину области. И когда завод сгорел, энергосистема рухнула. Не сразу — сначала шли перебои, скачки напряжения, моргание лампочек, — а потом целые районы начали погружаться в темноту. График подачи электричества сократился до четырёх часов в сутки, и эти четыре часа люди использовали, чтобы зарядить телефоны, вскипятить воду, успеть приготовить еду. Всё остальное время Озёрск-Северный лежал во тьме — только свечи в окнах, только фонарики в руках прохожих, только тусклое зарево пожаров на горизонте.

Город возвращался в каменный век. И вместе с благами цивилизации исчезало что-то ещё — что-то, державшее людей в рамках. Терпение заканчивалось. Вежливость испарялась. Очереди становились агрессивнее, взгляды — тяжелее, разговоры — короче и злее. В подворотнях уже шептались о том, кто где достал бензин, кто кому заплатил, кто кого обманул. Новости — те, что ещё доходили через эфир помех и отключений, — сообщали о погромах в других городах: где-то разгромили склад горючего, где-то перевернули бензовоз, где-то избили начальника топливного департамента, который пытался объяснить, что топлива нет и не будет.

Сергей слушал всё это и чувствовал, как внутри что-то затвердевает окончательно. Не озлобленность — озлобленность была бы роскошью, которую он не мог себе позволить. Что-то более холодное, более прагматичное. Понимание того, что мир, в котором он жил раньше — с работой на складе, с субботними прогулками, с планами на будущее, — этот мир исчез. И теперь нужно жить в новом. В том, где нет бензина, нет света, нет гарантий, нет защиты. Где каждый день — это борьба. И где выживают не те, кто громче всех кричит на митингах, а те, кто умеет договариваться, делиться, помогать соседям и не терять человеческого лица даже тогда, когда всё вокруг толкает к обратному.

В один из таких тёмных вечеров, когда они с Анастасией сидели на кухне при свете огарка свечи, она вдруг сказала:

— Помнишь, мы мороженое ели? Тогда, на бульваре. Всего месяц назад. А кажется — в прошлой жизни.

Сергей помнил. Он помнил жару, помнил вкус пломбира, помнил, как Настя морщила нос. Помнил, как мир был целым. И от этих воспоминаний становилось горько, как от полынной настойки, но в то же время они грели — потому что этот мир был, он существовал, и значит, мог существовать снова. Когда-нибудь.

Если они доживут.

## Глава 6. Объектив над пеплом

Первое видео Сергей увидел прямо на складе. Мобильный интернет работал с перебоями, но в тот день связь неожиданно ожила на целых полчаса, и кто-то из пацанов крикнул через весь ангар: «Смотрите, наши пацаны прямой эфир из Дальнегогорска гонят, там опять прилёт только что!» Все бросили работу. Никто не думал о начальнике смены, о плане, о неотгруженных паллетах — семь мужиков сгрудились вокруг маленького экрана смартфона, вглядываясь в дрожащую картинку. Сергей стоял позади всех, вытягивал шею, смотрел.

На экране был парень лет двадцати, не старше. Худой, в каске с примотанным скотчем фонариком, в грязной толстовке с капюшоном, из-под которого выбивались сальные волосы. Он держал телефон на вытянутой руке, и камера тряслась, ловила то его лицо с безумными от адреналина глазами, то дымящиеся руины за спиной. Парень говорил быстро, захлёбываясь, перекрикивая вой сирен и гул ещё не упавших обломков: «Народ, всем привет, я Лис, мы сейчас в Дальногогорске, видите, вот здесь только что был прилёт, буквально пять минут назад, жилой дом, девятиэтажка, четвёртый подъезд полностью обрушен, пожарные ещё не подъехали, слышите, ещё не подъехали, а люди там, люди под завалами, мы пытаемся достать...»

Камера метнулась в сторону, показала покореженные бетонные плиты, языки пламени, чьи-то руки, судорожно разгребавшие битый кирпич. Крики. Женский плач где-то совсем рядом, такой близкий, что у Сергея похолодели пальцы. Чат внизу экрана летел с бешеной скоростью — «держитесь», «мы с вами», «помощь едет?», «кто-нибудь вызовите спасателей», «Лис, уходи оттуда, сейчас рванёт газ». Эмодзи сердечек, слёз, сложенных в молитве рук. Шестьсот зрителей. Семьсот. Тысяча. Тысяча двести.

— Он чё, под обстрелом сидит? — спросил кто-то из мужиков хриплым шёпотом.

— Прямой эфир, — ответил владелец телефона, не отрываясь от экрана. — Они теперь всё снимают. Все блогеры эти. Раньше челленджи всякие, а теперь вот это.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.